




Мюриель Барбери

# ЛАКОМСТВО



От автора  
бестселлера  
«Элегантность  
ежика»!

# Мюриэль Барбери

## Лакомство

### Серия «Азбука-бестселлер»

*Издательский текст*

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=48785584](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48785584)

*Лакомство: Азбука, Азбука-Аттикус; СПб.; 2020*

*ISBN 978-5-389-17291-3*

### Аннотация

Знаменитый дегустатор и кулинарный критик на пороге смерти пытается вспомнить тот дивный вкус, который ему хочется ощутить в последний раз. Он перебирает в памяти свои вкусовые ощущения начиная с раннего детства: от самых простых до самых экзотичных, и каждый его внутренний монолог – это подлинный праздник вкуса, исполненный поэзии. В конце романа ему все же удастся вспомнить то забытое лакомство, и это оказывается полной неожиданностью для читателя.

Французская писательница Мюриэль Барбери завоевала признание сразу после выхода в свет ее первого романа – «Лакомство» (2000). Второй роман, «Элегантность ежика» (2006), сделал ее известной не только на родине, но и во многих странах мира. Крупнейшая парижская газета «Монд» присвоила Барбери титул королевы бестселлера.

# Содержание

Вкус	6
Рене	9
Хозяин	11
Лора	15
Мясо	21
Жорж	25
Рыба	34
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Мюриель Барбери

## Лакомство

*Стефану, без которого бы...*

Muriel Barbery

UNE GOURMANDISE

Copyright © Editions GALLIMARD, Paris, 2000

© Н. О. Хотинская, перевод, 2006

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

С самого раннего детства для меня главными удовольствиями в жизни были еда и слова. Роман «Лакомство» вписывается в пространство между тремя мирами, тремя разновидностями наслаждения: мир детства и смесь печали и радости, которую я испытываю, вспоминая о тех давно утраченных временах; мир кулинарии, дегустаций и обжорства; мир слов и литературного языка, возвращающий к жизни события и образы прошлого, а также давно забытые удовольствия. Все эти три мира я свела в один, когда взялась на-

рисовать портрет стареющего кулинарного критика, заблудившегося в воспоминаниях детства и поисках утраченных вкусовых ощущений. В то же время мне не хотелось, чтобы мой роман был похож на идиллическую картинку сказочного детства и пиршеств, как это обычно случается, когда критик превращается в старого неприятного человека, тяжело-го и слепого по отношению к себе. Наконец, признаюсь: мне доставило огромное удовольствие писать от лица мужчины, который, не смущаясь, говорит о том, чего ему хочется и что ему неприятно. Он без малейшего стеснения, без стыда, раскаяния и оправданий рассказывает о своих тайных кулинарных фантазиях, причудливых и удивительных.

*Мюриель Барбери*

# ***Вкус***

## **Улица Гренель, спальня**

Когда я занимал место во главе стола, владыкой – вот кем я себя ощущал. Мы были королями, светилами в эти несколько часов пира, в которые решалось чье-то будущее и обозначался горизонт, трагически близкий или восхитительно далекий и лучезарный, – горизонт чьих-то надежд. Я входил в зал, как выходит консул на арену, ожидая приветствий, и давал знак к началу празднества. Кто в жизни не отведал дурмана власти, не может себе вообразить этот выплеск адреналина, что разливается по всему телу, и движения становятся гармоничными, и бесследно исчезает усталость, исчезает все, что не служит единственно вашему удовольствию, этот экстаз могущества без пределов, когда уже ни за что не надо бороться – знай пользуйся тем, что завоевано, упиваясь бесконечным восторгом, который познаешь, внушая трепет.

Таковыми были мы и безраздельно царили за величайшими столами Франции, сытые превосходными яствами и собственной славой, с одним всегда неутоленным желанием, неизменно упоительным, как первый след для гончей, – единолично решать, насколько они превосходны.

Я величайший в мире гастрономический критик.

Я поднял это не самое почтенное искусство до ранга высокого. Мое имя у всех на слуху, от Парижа до Рио, от Москвы до Браззавиля, от Сайгона до Мельбурна и Акапулько. Я создавал и разрушал репутации, я был на всех изобильных пиршествах высшим судьей, многознающим и беспощадным, расточая мед или яд с моего пера во всех газетах, радио и телепередачах, со всевозможных трибун, куда меня постоянно приглашали вещать о том, что прежде было епархией лишь узкоспециализированных журналов да изредка еженедельных колонок хроники. В моей коллекции трофеев красуются ценнейшие экземпляры. Мне и только мне обязан своим величием, а затем и падением ресторан Партэ, моих рук дело – крушение ресторана Санжер и немеркнущая слава ресторана Марке. Навеки, да, на веки вечные я сделал их тем, что они есть.

Я заключил вечность в скорлупку моих слов – и вот завтра я умру. Я умираю, мне осталось сорок восемь часов, а может быть, я умираю уже шестьдесят восемь лет, но только сегодня снизошел до того, чтобы обратить на это внимание. Как бы то ни было, приговор Шабро, врача и близкого друга, прозвучал вчера: «Тебе осталось сорок восемь часов, старина». Какая ирония! Десятки лет обжираться, выпить реки вина, отведать все мыслимые спиртные напитки, не отказывать себе в жирном, сладком, остром, жареном, целую жизнь

предаваться излишествам, со знанием дела организованным, продуманно взлелеянным, – и после всего этого самые верные мои слуги, госпожа Печень и ее соратник Желудок, чувствуют себя прекрасно, а подводит меня сердце. Я умираю от сердечной недостаточности. Горькая ирония! Я столько раз корил тех, в чьей кухне, в чьем искусстве, на мой взгляд, недоставало сердца, не задумываясь о том, что это мне его недостает, сердца, предавшего меня столь внезапно, с плохо скрываемым презрением, – уж слишком быстро был заточен этот нож...

Я скоро умру, но это не важно. Со вчерашнего дня, после слов Шабро, только одна вещь имеет для меня значение. Я скоро умру – и я не могу вспомнить один вкус, запавший мне в сердце. Я знаю, что этот вкус – истина всей моей жизни в первой и последней инстанции, что ему принадлежит ключ от сердца, которое я не слушал с тех пор. Я знаю, что этот вкус из детства или отрочества, что это исконное и чудесное яство я отведал до выбора пути критика, когда еще не помышлял и не имел притязаний высказываться о своем удовольствии от еды. Этот забытый вкус, запрятанный в сокровенных глубинах моего «я», открывается мне на закате жизни как единственная истина, которая была в ней изречена – или осуществлена. Я ищу и никак не могу найти.

# Рене

## Улица Гренель, привратническая

Ну кто там еще?

Мало того, что я каждый божий день вожу грязь из-под ботинок богачей, мету пыль из-под ног богачей, слушаю разговоры про заботы богачей, кормлю их собачек и кошечек, поливаю их цветочки, утираю носы их деткам, получаю от них подарочки к праздникам, и, кстати, только тогда они не строят из себя богачей, нюхаю их духи, открываю дверь их знакомым, разношу их почту, пухлые конверты с выписками из банковских счетов богачей, рентами богачей и всякими там кредитами богачей, насилую себя, чтобы улыбаться в ответ на их улыбки, живу, наконец, в доме для богачей, я, консьержка, никто и звать никак, что-то там за стеклом, чего и не видят, буркают «здрасте» себе под нос, чтоб отделаться, неловко ведь, что сидит это старое что-то там в своем темном закуте, без хрустальных люстр, без лаковых туфель, без верблюжьих пальто, неловко и в то же время как маслом по сердцу, это ведь наглядное социальное расслоение, вроде как оправдание их, богачей, превосходства, оно ведь это подчеркивает их обеспеченность, оттеняет их изысканность, — так

нет же, им мало, вдобавок ко всему этому, к тому, что я день за днем, час за часом, минуту за минутой, да что там, хуже – год за годом живу как чумная затворница, я еще должна вникать в горести богачей?

Если им надо знать, как здоровье мэ-э-этра, пусть звонят в его дверь.

# *Хозяин*

## **Улица Гренель, спальня**

Сколько себя помню, я всегда любил поесть. Я не могу в точности вспомнить мои первые гастрономические вос-  
торги, но, поскольку первой в моей жизни поварихой, чьей  
стряпне я воздавал должное, была моя бабушка, сомнений  
на этот счет почти не остается. В меню тех пиршеств входили  
мясо с подливкой, картошка с подливкой и хлеб, чтобы со-  
бирать с тарелки подливку. Я так и не знаю с тех пор, детство  
ли тому причиной или подобного рагу я действительно боль-  
ше не едал, но никогда и ничего не смаковал я столь жад-  
но, – оксюморон, я по таким специалист, – как те картофе-  
лины за бабушкиным столом, насквозь пропитанные соусом  
маленькие губки, дивные на вкус. Не оно ли это, то забытое  
ощущение, что поднимается в моей груди? Не достаточно ли  
просто попросить Анну потомить несколько клубней в гор-  
шочке со старым добрым петухом в вине? Увы, я знаю – нет.  
Я знаю – то, что я ищу, ускользает от моего вдохновения, от  
памяти, от мысли. Чудесное жаркое, восхитительные цыпля-  
та по-охотничьи, изумительные петухи в вине и умопомра-  
чительные рагу, я помню вас, спутников моего плотоядного

и щедро сдобренного соусом детства. Я помню вас, милые горшочки, окутанные мясными запахами, но не вы, не вы так нужны мне теперь.

Позже, хоть старая любовь не ржавела, вкусы мои обратились к иным областям кулинарии, и на это пристрастие к мясу под соусом наложился, с особым смаком, который дает сознание своей эклектичности, властный зов утонченных вкусов. Нежнейшая ласка первого суси больше не тайна для моего нёба, и я благословляю тот день, когда мой язык впервые ощутил упоительную, почти эротичную бархатистость устрицы после ломтика хлеба с соленым маслом. Так подробно и виртуозно проанализировал я ее волшебный изыск, что сей божественный глоток стал для всех едва ли не религиозным актом. Между двумя этими крайностями, между горячей изобильностью жаркого и кристальной строгостью раковины я познал всю гамму кулинарного искусства как эстет и как знаток, всегда с опережением на одно блюдо – но всегда с отставанием на одно сердце.

Я слышу, как перешептываются в коридоре Поль и Анна. Приоткрываю глаза. Мой взгляд встречает, по обыкновению, совершенный изгиб статуэтки Фаньоля, подаренной мне Анной на шестидесятилетие, – как давно, кажется, это было! Поль тихонько входит в комнату. Из всех моих племянников и племянниц его одного я люблю и ценю, его одного допускаю к себе в последние отмеренные мне часы и только с ним

да с женой я поделился, когда еще мало-мальски мог говорить, своей душевной мукой.

«Какое-то блюдо? Десерт?» – спросила Анна с рыданием в голосе.

Мне невыносимо видеть ее такой. Я люблю мою жену, я всю жизнь любил окружать себя красивыми вещами. Это так. Хозяином я жил, хозяином и умру, ни о чем не жалея и не сентиментальничая, я вовсе не стыжусь, что копил добро и присваивал души человеческие, как другие покупают дорогие картины. У произведений искусства ведь есть душа. Я твердо знаю: их нельзя свести просто к некой минеральной структуре, к составляющим их безжизненным элементам, и, наверное, поэтому никогда не испытывал ни малейшего стыда, считая прекраснейшим творением из всех Анну, которая на протяжении сорока лет оживляла своей точеной красотой и исполненной достоинства нежностью покои моего королевства.

Я не могу видеть ее слез. На пороге смерти я чувствую, что она чего-то ждет, что ей больно от неотвратимости конца, вырисовывающегося на горизонте ближайших часов, и страшно, что я кану в то же небытие отношений, что установилось между нами с самой свадьбы, – то же, но окончательное, без возврата, без надежды, без завтрашнего дня, когда все, быть может, изменится. Я знаю, что так она думает или так чувствует, но это не моя печаль. Нам с ней нечего друг другу сказать, ей остается смириться, потому что я так ре-

шил. Мне только хотелось бы, чтобы она поняла это, как я понимаю, чтобы она утешилась, а я не чувствовал себя виноватым.

Ничто больше не имеет для меня значения. Ничто, кроме этого вкуса, который я ищу в лабиринтах моей памяти, а он, в обиде за измену, о которой я давно позабыл, не дается и все ускользает и ускользает от меня.

# Лора

## Улица Гренель, лестничная клетка

Я помню каникулы в Греции, когда мы были еще детьми, на Тиносе, кошмарном острове, голом и раскаленном. Я возненавидел его с первого взгляда, с первого шага по суше, едва расставшись с палубой корабля и ветрами Адриатики...

Большой серый с белым кот метнулся на террасу, а оттуда на невысокую стену, отделявшую наши владения от невидимого дома соседа. Не кот, а котище: по местным стандартам размеров он был внушительных. В округе бегало полно отощавших драных кошек с трясущимися головами, от голодного вида которых у меня разрывалось сердце. Но этот котяра, похоже, рано постиг законы выживания: он прошел испытание террасой, добрался до двери в столовую, не убоился войти и без зазрения совести с хозяйским видом набросился на жареную курицу, царственно возлежавшую на блюде посреди стола. Когда мы застучали его за нашим обедом, он разве что чуть-чуть испугался, а может быть, притворился, чтобы смягчить наши сердца, и успел-таки ловко и сноровисто отгрызть крылышко, после чего пулей вылетел в балконную дверь с добычей в зубах, машинально взрывкая, чем

привел нас, детей, в безмерный восторг.

Его, разумеется, с нами не было. Он вернулся из Афин через несколько дней, ему рассказали этот случай – рассказала мама, не замечавшая в своем ослеплении его презрительной мины, его нелюбви. Он слушал вполуха, мыслями уже на новых пиршествах, далеко, на краю света – без нас. На меня он, однако, посмотрел, и в глубине его глаз мелькнуло разочарование, хотя, может быть, это была неприязнь или жестокость, скорее всего, и то, и другое, и третье, – посмотрел и сказал мне: «Вот как надо бороться за жизнь, этот кот – живой урок», и его слова прозвучали как отходная, слова, выбранные, чтобы ранить, чтобы причинить боль, пыточные слова для маленькой запуганной девочки, слабенькой, серенькой, ничего собой не представляющей.

Он был воплощением грубой силы. Грубая сила проявлялась в его движениях, в собственнической манере брать, в удовлетворенном смешке, в хищном взгляде. Я никогда не видела, чтобы он расслаблялся; все было поводом для напряжения. С утра, с завтрака, в те редкие дни, когда он жаловал нас своим присутствием, начиналась мука мученическая: в психодраматической атмосфере, на повышенных тонах, с надрывом обсуждались судьбы Империи: что будем есть на обед? Покупки на рынке делались в состоянии истерии. Мать безропотно все терпела, по своему обыкновению, как всегда. А потом он уезжал – к другим ресторанам, к другим женщинам, к другим берегам, где не было нас, не было,

я уверена, даже в воспоминаниях, а до отъезда мы, я думаю, были для него чем-то вроде мух, докучных мух, от которых отмахиваются, чтобы прогнать и забыть: насекомые – вот кто мы были такие.

Это случилось под вечер, в сумерках. Он шел впереди, за сунув руки в карманы, между двумя рядами рассчитанных на туристов лавочек по единственной торговой улице Тиноса, шел царственным шагом, не оглядываясь на нас. Хоть провались под нами земля – ему было все равно, а как могли маленькие ножки забитых детей преодолеть пропасть, которая ширилась между нами? Мы еще не знали, что он проводит с нами последнее лето; на следующий год мы с облегчением и восторгом встретили известие о том, что уезжаем без него. Очень скоро нам пришлось притерпеться к другой беде: мама бродила как тень в местах наших увеселений, и это оказалось даже хуже, так что своим отсутствием он ухитрялся еще сильнее мучить нас. Но в тот день он был с нами и шагал вверх по склону с обескураживающей скоростью. Я замешкалась у какой-то закусочной под неоновой вывеской, держась за бок, в котором невыносимо кололо, и все еще судорожно переводила дух, когда вдруг с ужасом увидела, что он возвращается, а следом Жан, до синевы бледный, устремив на меня свои большие глаза, полные слез; я перестала дышать. Он прошествовал мимо меня, словно не заметив, вошел в забегаловку, поздоровался с хозяином, – мы тем временем нерешительно переминались с ноги на ногу на

крыльце, – кивнул на что-то за стойкой, поднял руку с растопыренными пальцами, показывая: «три», махнул нам: «войдите» и уселся за столик в глубине зала.

Это были так называемые лукумады, крошечные и совершенно круглые сладкие пирожки, которые обжаривают в кипящем масле – быстро, чтобы они покрылись хрустящей корочкой, а внутри остались нежными, как пух, – потом обмазывают медом и подают очень горячими на маленькой тарелочке с вилочкой и стаканом воды. Ну вот, опять, вечно одно и то же. Я думаю, как он. Как он, раскладывая цепочку ощущений на составляющие, как он, наношу на них глазурь эпитетов, и размазываю их, и растягиваю на расстояние фразы, и эта словесная мелодия обращает трапезу в заклинание факира, заставляющее читателя поверить, что и он ел вместе с нами... Все-таки я его дочь...

Он попробовал пирожок, поморщился, отодвинул тарелку и уставился на нас. Жан справа от меня – не видя его, я это чувствовала, – пытался и никак не мог проглотить; я же медлила положить в рот кусочек, тянула, как могла, и, застыв как статуя, тупо смотрела на него, а он внимательно смотрел на нас.

– Тебе нравится? – вдруг спросил он меня своим глуховатым голосом.

Паника. Замешательство. Рядом со мной тихонько сопел Жан. Я сделала над собой нечеловеческое усилие и слабо пискнула:

– Да.

– А почему? – продолжил он допрос еще суше, но я видела, что в глубине его глаз, впервые за много лет по-настоящему смотревших на меня, мелькнуло что-то новое, доселе незнакомое, искорка, нет, пылинка ожидания, надежды, это было непостижимо, пугало и парализовало, потому что я уже давно свыклась с мыслью, что от меня он ничего не ждал.

– Потому что вкусно? – ляпнула я, съезжившись.

И – проиграла. Сколько раз с тех пор прокручивала я в мыслях – и в образах – эту душераздирающую сцену, этот ключевой момент, когда что-то могло бы повернуться иначе и пустыня моего детства без отца могла расцвести новой чудесной любовью... Как в замедленной съемке, на скорбном полотне моих обманутых желаний отсчитываются секунды одна за другой: вопрос – ответ, ожидание – и конец всему. Огонек в его глазах погас так же быстро, как вспыхнул. И вот уже, брезгливо поджав губы, он отворачивает голову, расплывается, а я навсегда возвращаюсь в застенки его равнодушия.

Но зачем же я стою здесь, на лестнице, с бьющимся сердцем, заново переживая эти горести, уже давно пережитые... Нет?.. Но они должны, должны были отступить после стольких лет необходимых мучений на кушетке психоаналитика, когда я, прилежно высказывая наболевшее, день за днем, пядь за пядью отвоевывала право быть не ненавистью и не трепетом, а только самой собой. Лора. Его дочь... Нет. Я не

пойду туда. Я уже оплакала отца, которого у меня не было.

# *Мясо*

## **Улица Гренель, спальня**

Мы сходим с корабля в сутолоке, шуме, пыли и усталости – устали все. Испания, пересеченная из конца в конец за два изнурительных дня, уже стала лишь тенью где-то на дальних пределах нашей памяти. Грязные, вымотанные километрами неровных дорог, недовольные короткими остановками и перекусами на скорую руку, сомлевшие от жары в битком набитой машине, которая наконец выехала на набережную, мы еще в пути, но предчувствуем, какое это будет счастье – приехать.

Танжер. Быть может, самый сильный город мира. Сильный своим портом, своим положением города-ключа, города, где причаливают и отчаливают суда, на полпути между Мадридом и Касабланкой, и сильный тем, что не является при этом, как Альхесирас по другую сторону пролива, портовым городом. Город со своим лицом, сам по себе и в себе, несмотря на морской простор и причалы, открытые другим берегам, город, живой самодостаточной жизнью, остров смысла на перекрестье дорог, Танжер брал нас в полон с первой минуты. Здесь кончался наш долгий путь. И хотя ме-

стом назначения был Рабат, город, откуда была родом семья моей матери и где мы, после того как перебрались во Францию, проводили каждое лето, уже в Танжере мы чувствовали себя дома. Машину ставили на стоянку у гостиницы «Бри-столь», скромной, но чистенькой, на круто уходившей вверх улочке, которая вела в Старый город – медину. И чуть позже, приняв душ, пешком отправлялись к месту долгожданного пира.

Это было у самого входа в медину. Под аркадами на площади несколько ресторанчиков манили прохожих запахом жареного мяса. Мы заходили в «наш», поднимались на второй этаж, где единственный большой стол занимал почти весь тесный зальчик с голубыми стенами, окнами выходящий на площадь, и садились, голодные и возбужденные, в предвкушении раз и навсегда составленного меню, ожидавшего лишь нашего волеизъявления. Трудился старенький, но усердный вентилятор, создавая иллюзию ветра, хотя прохлады никакой от него не было; расторопный официант ставил на липковатую столешницу стаканы и графин с ледяной водой. На безупречном арабском языке мать делала заказ. Не проходило и пяти минут, как блюда появлялись на столе.

Быть может, я и не найду того, что ищу. Но, по крайней мере, есть повод вспомнить это: мясо на вертеле, мешуя – горячий салат из помидоров и перца, чай с мятой и миндальное печенье под названием «рожки газели». Я был Али-Ба-

бой. Моя пещера с сокровищами была здесь, в этом совершенном ритме, в изумительной гармонии между яствами, которые были объединением сами по себе, но в своей неукоснительной ритуальной последовательности воистину приближались к божественному. Шарики из рубленого мяса, должным образом прожаренные с учетом их плотности, но при этом вышедшие из огня, нимало не подсохнув, наполняли мой рот профессионала по части плотоядности теплой, пряной, сочной, густой волной, и я с наслаждением работал челюстями. Прохладная маслянистость сладких перцев смягчала мой язык, плененный властной силой мяса, и готовила его вновь к этой мощной атаке. Все было в изобилии. Мы запивали еду маленькими глоточками шипучей воды – такую можно отведать еще в Испании, но во Франции похожей не сыщешь: игристая и чистая, дразнящая и бодрящая, ни унылой пресности, ни избытка газа. Когда же мы, сытые и слегка ослобившиеся, отваливались от тарелок и ерзали на скамье в поисках несуществующей спинки, чтобы откинуться, официант приносил чай, разливал его согласно вековому ритуалу и ставил на стол, наскоро пройдясь по нему тряпкой, тарелку с «рожками газели». Есть больше никому не хотелось, но в этом-то вся и прелесть настоящего десерта: сладости можно оценить сполна только на сытый желудок, когда это сахарно-медовое объединение не утоляет насущную потребность, а услаждает наше нёбо благорасположением жизни.

Не знаю, приведут ли меня куда-нибудь сегодня мои поиски, но, может статься, цель моя недалеко от этого контраста: поразительного контраста, являющего собой суть цивилизации, между терпкой сочностью простого и сытного мяса и участливой нежностью, казалось бы, уже излишнего лакомства. Вся история человечества, племени чувствительных хищников, каковыми мы являемся, уместается в эти танжерские трапезы, и она же объясняет даримое ими несказанное блаженство.

Никогда больше я не вернусь в этот приморский город, к желанному берегу, в гавань, к которой так долго стремилась истерзанная бурями душа, – никогда. Но что с того? Я вступил на путь искупления. На этих торных дорогах, где познается удел человеческий, вдали от суетности былых роскошных пиров моей карьеры критика должен я теперь искать то, что дарует мне спасение.

# Жорж

## Улица Прованс

Наша первая встреча состоялась у Марке. На это стоило посмотреть, да, стоило посмотреть хоть раз в жизни, как этот большой хищный зверь подминал под себя все вокруг. О, эта львиная поступь, царственный кивок метрдотелю: он здесь и завсегдатай, и самый дорогой гость, и хозяин. Он стоял почти посередине зала, беседовал о чем-то с Марке, которая вышла к нему из кухни, из своих владений, и он приобнял ее за плечи, когда они шли к столу. Вокруг было много людей, они громко разговаривали, все были великолепны, такие надменные и вместе с тем красивые, но чувствовалось, что они тайком ловят каждый его вздох, что они сияют в его тени, внимают его голосу. Он был Мэтр, и, в окружении своей свиты, он повелевал, а они просто болтали.

Надо полагать, метрдотель шепнул ему на ухо: «Здесь сегодня один ваш юный коллега, месье». Он повернулся ко мне, на короткое мгновение устремил на меня взгляд – я почувствовал себя просвеченным рентгеном до самых потаенных, самых жалких моих мыслишек, – и отвернулся. Почти тотчас же меня пригласили за его стол.

Это был мастер-класс, один из дней, когда, примеряя на себя роль духовного наставника, он приглашал пообедать с ним молодежь – цвет европейской гастрономической критики – и, точно понтифик, снизошедший до проповеди, с высоты кафедры учил ремеслу своих восхищенных приверженцев. Папа, восседающий среди кардиналов: было что-то от мессы в этом гастрономическом соборе, на котором он безраздельно царил над избранными. Правила были просты: все ели, каждый высказывался, он слушал – и выносил вердикт. Я оцепенел. Как честолюбивый, но робкий юнец, впервые представленный «крестному отцу», как провинциал на первом парижском рауте, как восторженный поклонник, воочию увидевший диву, бедный сапожник, встретивший взгляд принцессы, начинающий писатель, попавший в святая святых издательства, – вот как я себя чувствовал. То был Христос, а я на этой Тайной вечере оказался Иудой – нет, не предателем, конечно, но самозванцем, случайно попавшим на Олимп, приглашенным по недоразумению, чья глупость и бездарность не замедлят открыться всем. Так что весь обед я молчал, а он ко мне не обращался, оставив кнут и пряник своих сентенций верной пастве. За десертом, однако, он вопросительно посмотрел на меня. Все безуспешно изощрялись по поводу шарика апельсинового мороженого, вернее сорбета.

Да, безуспешно: ведь все критерии субъективны. То, что по меркам здравого смысла смотрится выше всех похвал,

увы, разбивается о скалистые берега гения. Их разговор ошеломлял; искусство красноречия оттеснило на второй план собственно дегустацию. Все они подавали надежды меткостью и блеском своих суждений, виртуозностью отточенных тирад, пронзавших мороженое стрелами синтаксиса и молниями поэзии, всем было уготовано будущее мастеров кулинарного слова, и держаться в тени славы старшего собрата им оставалось недолго. Но оранжевый неровный шарик с пористыми боками продолжал таять на блюдечке, и сладкие лавины уносили с собой понемногу недовольство мэтра. Ничто ему не нравилось.

Он хмурился, мрачнел на глазах, едва ли не злился на себя: угораздило же попасть в такую скверную компанию... и тут его сумрачный взгляд остановился на мне, приглашая... Я откашлялся, съезжившись и залившись краской от смущения, потому что мороженое навевало мне много мыслей, но определенно не тех, которые могли быть высказаны здесь, в этом хоре словес высокого полета, в цветнике стратегов-гурманов, перед лицом живого гения с бессмертным пером и огненными очами. И все же надо, надо было наконец сказать хоть что-то, и немедленно, поскольку от него так и веяло нетерпением и раздражением. Итак, я еще раз откашлялся, облизнул пересохшие губы и – была не была:

– Это напоминает мне мороженое, которое готовила моя бабушка...

На самодовольном лице молодого человека, сидевшего

напротив, мелькнула тень насмешливой улыбки. Я также заметил, как слегка надулись его щеки, предвещая взрыв обидного смеха, мою смерть и похороны по первому разряду: здравсте – до свидания, юноша, вы здесь не ко двору, больше не приходите, счастливо оставаться.

Но он... он вдруг улыбнулся мне с неожиданной для него теплотой, улыбнулся широкой приветливой улыбкой – улыбкой волка, да, но волка волку, в ней дух стаи, дружелюбие, непринужденность, в ней читается: здравствуй, друг, как хорошо, что мы встретились. Он улыбнулся и сказал:

– Расскажите же мне о вашей бабушке.

Это было поощрение, но одновременно и завуалированная угроза. За его, казалось бы, благожелательной просьбой стоял приказ, которого мне нельзя было ослушаться, и опасность после столь удачного начала разочаровать его. Мой ответ его приятно удивил своей непохожестью на сольные пассажи прочих виртуозов, это ему нравится. Пока.

– Бабушкина кухня... – начал я, в отчаянии подбирая слова и не находя той единственной формулировки, которая оправдала бы мой ответ – и мой выбор ремесла, мой талант.

И тут – кто бы мог подумать? – он сам пришел мне на помощь.

– Поверите ли, – улыбнулся он мне почти ласково, – у меня тоже когда-то была бабушка, и ее кухня манила меня, как пещера чудес. Думаю, исток всей моей карьеры надо искать в аппетитных запахах, которые долетали до меня оттуда и от

которых я ребенком шалел. Да, буквально шалел. Мало кто представляет себе, что такое желание, истинное желание, когда что-то завораживает вас, овладевает всей вашей душой, охватывает ее целиком, так что вы становитесь безумцем, одержимым, готовым на все ради крошки, ради капли того, что там томится, щекоча ваши ноздри дьявольским ароматом! И потом, бабушка была полна энергии, веселой силы, бьющей через край жизни, которая словно заряжала всю ее стряпню, и я чувствовал себя будто рядом с тиглем алхимика, где создавалось новое вещество; она сияла, окутывая своим теплым и душистым сиянием меня.

– У меня было скорее чувство, что я вторгаюсь в святилище, – подхватил я с облегчением, уловив наконец суть моего наития и зная, что говорить дальше (вырвавшийся у меня долгий вздох не был слышен миру). – Моя бабушка была далеко не так весела и лучезарна. Она, будучи протестанткой до мозга костей, являла собой скорее воплощение достоинства и стряпала спокойно и кропотливо, без суеты и волнения, а ее супницы и блюда из белого фарфора подавались на стол, за которым царила тишина, и сотрапезники ели без спешки и видимых эмоций кушанья такой вкусноты, что сердце заходило от счастья и блаженства.

– Любопытно, – протянул он, – ведь именно ее жизнерадостной и чувственной натурой южанки я всегда объяснял совершенство и волшебство бабушкиной стряпни, такой же, как она, щедрой и смачной. Порой я даже думал, что

непревзойденной стряпухой ее делают как раз недалекий ум и необразованность, ибо вся энергия, не питающая душу, уходит в пищу телесную.

— Нет, — сказал я после недолгого раздумья, — секрет их искусства был не в характере, не в жизненной силе, не в убеждении, что всякое дело надо делать хорошо, и не в строгости. Я думаю, они сознавали, даже не формулируя этого, что занимаются благородным трудом, в котором могут проявить себя наилучшим образом и который лишь верхоглядам кажется второстепенным, низменным и грубо утилитарным. Они хорошо усвоили через все унижения, которым подвергались, не сами по себе, а в силу своей женской доли, что, когда мужчины приходят домой и садятся за стол, наступает их звездный час, их царство. И дело не в том, что они,ладычицы в доме, держали в руках «внутреннюю экономику» и тем самым брали реванш за господство мужчин «вовне». Они смотрели выше, они знали, что совершают подвиги, через которые лежит прямой путь к сердцу и телу мужчины и которые поднимают их, женщин, в глазах сильного пола на такую высоту, на какой для них самих никогда не стояли интриги, власть, деньги и прочие силовые аргументы общества. Они повязывали своих мужчин не тенетами домашнего уклада, не детьми, не респектабельностью и даже не постелью — нет, вкусовыми бугорками, да так надежно, как если бы посадили в клетку, в которую их даже загонять не пришлось.

Он слушал меня очень внимательно; я сразу признал за

ним это качество, редкое у людей, наделенных властью, и позволяющее распознать момент, когда кончается показуха, разговор, в котором каждый лишь метит территорию, демонстрируя свое «я», и начинается настоящий диалог. Вокруг же нас возникло замешательство. Зазнайка, которому так не терпелось высмеять меня только что, сидел теперь с восковым лицом и ошарашенным взглядом. Остальные тоже ступсевались, приуныли.

– Что они чувствовали, – продолжал я, – эти самодовольные мужчины, эти «главы» семей, от рождения воспитанные патриархальным обществом как будущие хозяева жизни, поднося ко рту первый кусок, делая первый глоток простых и восхитительных кушаний, которые приготовили их жены в своих домашних лабораториях? Что чувствует человек, чей язык, пресыщенный пряностями, мясом, жирным кремом, солью, вдруг освежает прикосновение ледяной и фруктовой лавины, самую чуточку грубоватой, самую чуточку похрустывающей на зубах, чтобы эфемерное было не столь эфемерным, чтобы вкус продлился в медленном таянии крошечных сладких льдинок на языке... Рай – вот что чувствовали эти мужчины, просто рай, и они знали, хоть и сами себе в этом не признавались, что не могут одарить своих жен таким же раем, при всей власти и заносчивой силе не могут заставить их млеть так, как млеют сами от дарованного ими блаженства во рту.

Он перебил меня, но не грубо.

– Очень, очень интересно, – кивнул он, – я понимаю, о чем вы. Но вы ищете корни таланта в несправедливости, объясняете дар наших бабушек их угнетенным положением, а ведь было много великих кулинаров, не страдавших ни от кастового неравенства, ни от ущемления в правах. Как увязать это с вашей теорией?

– Никогда ни один кулинар не сравнился и не сравняется в искусстве кулинарии с нашими бабушками. Все названные нами факторы, – тут я слегка выделил голосом «нами», подчеркивая, что сейчас я вещаю с кафедры, – породили эту совершенно особую кухню, ту, которую творят женщины у себя дома, в своих четырех стенах. Этой кухне порой не достает утонченности, что с лихвой восполняют ее «домашние» качества, сытность и питательность. Это кухня для «ублажения желудка», но первое и главное в ней – жаркая чувственность, не случайно понятие «плотские радости» объединяет в себе и наслаждение пищей, и утехи любви. Стряпня была их приманкой, их чарами и соблазном – это вдыхало в нее душу, и потому равных ей нет.

Он снова улыбнулся мне перед всеми поверженными эпигонами, которые окончательно смешались, потому что не понимали, не могли понять, как это их, искусников в гастрономических словесах, их, воздвигнувших храмы во славу богини Еды, обскакал какой-то беспородный щенок, принесший в зубах всего-навсего старую, желтую, обглоданную косточку. Так вот, перед ними всеми, сидевшими в глубоком уны-

нии, он мне сказал:

– Хотелось бы продолжить эту увлекательную беседу в спокойной обстановке. Не окажете ли вы мне честь пообедать со мной завтра у Лесьера?

Я только что позвонил Анне и понял, что не пойду к нему. Больше не пойду. Никогда. Это конец целой эпопеи, конец моего ученичества, на пути которого, точь-в-точь как в одноименных романах, восторги сменились амбициями, амбиции разочарованиями, разочарования цинизмом. Нет больше того робкого и простодушного юноши, есть влиятельный критик, его боятся, к нему прислушиваются, он прошел лучшую школу и попал в лучшее общество, но день ото дня, час от часа чувствует себя все более старым, все более усталым, все более ненужным: болтливый и желчный старикашка, израсходовавший лучшее в себе, а впереди – плачевный закат без иллюзий. Не это ли чувствует он сейчас? Не потому ли виделась мне в его усталых глазах затаенная печаль? Неужели я иду по его стопам, неужели повторяю те же ошибки, изведая те же сожаления? Или просто настало для меня время пролить слезу над собственной судьбой, далекой, бесконечно далекой от его неведомого мне земного пути? Этого мне никогда не узнать.

Король умер. Да здравствует король!

# *Рыба*

## **Улица Гренель, спальня**

Каждое лето мы выбирались в Бретань. Занятия в школах тогда еще начинались в середине сентября. Дед и бабушка, к тому времени разбогатевшие, снимали в конце сезона большой дом на побережье, где собиралась вся семья. То была дивная пора. Я был еще слишком мал и не мог оценить того, что эти простые люди, которые всю жизнь трудились не покладая рук и которым лишь на склоне лет улыбнулась судьба, предпочли при жизни тратить деньги на родных, тогда как другие припрятали бы их в чулке под матрас. Но я уже знал, что нас, внуков, баловали и холили с умом, по сей день меня поражающим, ведь сам-то я смог только испортить своих детей – испортить в буквальном смысле слова. Я изгадил, исковеркал их, три создания без изюминки, вышедшие из чрева моей жены, приплод, которым я одарил ее походя в обмен на беззаветную готовность играть роль супруги-украшения, страшные подарочки, если вдуматься, ибо что такое наши дети, как не чудовищные карикатуры на нас, жалкий субститут наших нереализованных желаний? Для человека, который, как я, знает иные утехи в жизни, они достойны ин-

тереса лишь тогда, когда наконец уходят и становятся кем-то, а не только сыновьями и дочерьми. Я не люблю их, никогда не любил, и мне за это ничуть не совестно. А что они растрачивают свои силы на лютую ненависть ко мне — не моя печаль; единственное чадо, которое я признаю, — мое творчество. И то с оговоркой: этот забытый, неуловимый вкус посеял во мне сомнения.

А дед с бабушкой любили нас так, как только и умели любить: безраздельно. Своих собственных детей они вырастили невропатами и дегенератами — сын-меланхолик, дочь-истеричка, другая дочь и вовсе самоубийца, а мой отец избежал безумия, заплатив за это фантазией, и жену выбрал себе под стать: мои родители всю жизнь старались быть серенькими и средненькими, что и уберегло их от страстей, а стало быть, от бездны. Но я, единственный лучик света в жизни моей матери, был ее богом и богом остался; я забыл ее унылое лицо, ее безвкусную стряпню и вечно плачущий голос, но храню в памяти ее любовь, наделившую меня поистине королевской верой в себя. Что значит быть предметом обожания своей матери... Благодаря ей я покорял империи, я шел по жизни поступью победителя, что и открыло передо мной двери славы. Я был ребенком, ни в чем не знавшим отказа, и потому вырос не ведающим пощады, благодаря любви мегеры, которую, в сущности, лишь смирение сделало кроткой и ласковой.

Зато для внуков своих мои дед и бабушка были самыми

лучшими на свете. Дар веселья и лукавства из их глубинной сути, придавленный бременем родительской ответственности, расцвел, когда у детей появились свои дети. Лето дышало свободой. Все казалось возможным в этом мире ежедневных открытий, веселых и будто бы тайных вылазок затемно в прибрежные скалы; в этой несказанной щедрости, собиравшей за нашим столом всех случайных соседей тех летних дней. Бабушка колдовала у плиты с царственно невозмутимым видом. Весу в ней было больше ста килограммов, под носом чернели усы, она смеялась басом и поругивала нас, когда мы совали нос в кухню, похлеще любого грузчика. Но в ее умелых руках самые простые вещи превращались в настоящие чудеса. Белое вино лилось рекой, и мы ели, ели, ели. Морских ежей, устриц, мидий, жареных креветок, крабов под майонезом, кальмаров под соусом, ну и конечно – «себя ведь не переделаешь!» – жаркое, рагу, паэлью, кур и гусей – жареных, тушеных, запеченных... Всего не перечесать.

Один раз за этот месяц дед выходил к завтраку со строгим и торжественным видом, поев, молча вставал и уходил один в порт. Мы все знали: сегодня – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ день. Бабушка закатывала глаза, ворчала, мол, «опять все провозняет, сто лет не выветрить» и еще что-то нелестное по поводу кулинарных пристрастий мужа. А я, чуть не плача от избытка чувств в предвкушении, хоть и понимал, что она шутит, немножко сердился на нее, не склонявшую смиренно головы перед священностью момента. Спустя час дед возвращался

с огромным ящиком, от которого остро пахло морем. Нас, «мелюзгу», он тут же спроваживал на пляж, и мы послушно уходили, дрожа от возбуждения, больше всего на свете желая остаться, но не смея перечить. Когда же в час дня мы возвращались после купания, которое не доставляло обычного удовольствия, так отчаянно ждали мы обеда, то уже на углу улицы чувствовали божественный запах. Я готов был рыдать от счастья.

Жареные сардины благоухали морем и дымком на весь квартал. Густой серый дым валил из-за туй, окружавших сад. Все мужчины из соседних домов приходили пособить моему дедушке. На огромных решетках маленькие серебряные рыбки уже похрустывали, обдуваемые южным ветром. Под смех и разговоры открывались бутылки белого, как следует охлажденного вина, мужчины наконец усаживались за стол, а женщины спешили из кухни со стопками девственно-чистых тарелок. Бабушка ловко подцепляла толстенькое тельце, принюхивалась и отправляла его в тарелку, следом второе, третье... Своими добрыми глуповатыми глазами ласково глядела на меня и говорила: «На-ка, малыш, тебе первому! Ох и любит он рыбку-то!» Все хохотали, кто-то хлопал меня по спине, а щедрая порция тем временем приземлялась прямо передо мной. Я больше ничего не слышал. Вытаращив глаза, я смотрел на предмет своего вожеления; серая вздувшаяся кожа в длинных угольно-черных полосах отставала

от боков. Я надрезал ножом спинку вдоль плавника и аккуратно отделял беловатую, хорошо прожаренную мякоть, которая сама, без малейшего сопротивления расслаивалась на крепенькие лепестки.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.